

Не поддающееся систематическому описанию. Растворённое в текучей влаге жизни. Сцепление молекул, на которые распадается кровь, каплющая с ножа счастливого рыбака после разделки добытой тушки. Никакой красной струйки — но следы присутствуют в русле до самого устья. И даже потом, в океане.

Она вернулась домой — не девочка, комок счастья. Нет, всё-таки не комок — тот центростремительно свёрнут, стягивая силовые линии внутрь, копя энергию. У нее же наоборот — брызгало как бутон, фонтан, фейерверк. Тот случай, когда даже лица почти не разглядишь за волной света. Она вернулась с летней южной практики. Действительность раздражила новыми звуками, запахами, оттенками, перемешала и слепила заново.

Никакого томления в ответ на первые ухаживания. Его звали Аврора, что забавляло, но чем не имя для корейца из знаменитого колхоза «Политотдел». Ей нравились его жёсткие черные волосы и кошачья грация, но нравились бесцельно, не более, чем сизый налёт на сливах или ветвящийся узор виноградных лоз — добавочный фрагмент восхитительной мозаики, ничем не лучше других. Её интерес можно было назвать скорее этнографическим — корейские рассказы о глубинном устройстве родовой жизни отзывались такой же тайной Востока, как мраморные останки бахчисарайской беседки. Бродя в темноте лесными тропками, но и не удаляясь особо от отсветов лагерного костра, они даже не поцеловались ни разу, зато увлечённо пытались установить контакт — контакт цивилизаций. Ведь почти самурай, хоть и с того же курса. Но всё-таки общего оказалось больше, чем думалось поначалу — ведь все люди становятся похожими среди лесов и гор.

Жадно впитать новое, поверить обещаниям будущего — жизнь кажется бесконечной. А всё география, горный ландшафт. Обычная линия горизонта — сто восемьдесят градусов. В самом начале практики грузовик, который их вёз, оста-

новился на перевале — горизонт выгнулся на все двести семьдесят. Люди замерли на вершине пика, хотя никакого пика и не было — так себе, некрутые склоны, но свод голубого матового стекла почти смыкался в сферу. Рифма к детской игрушке — миру в стеклянном шаре, который только встряхни, и над островерхими домиками закружится снегопад. Но там ты наблюдатель, а здесь находишься в центре сферы, в центре мира — и вот он, ядовитый коготок, ответственный за дальнейшие зигзаги личного сюжета. Испытав такое, легкомысленно веришь, что можешь всё, и ничто тебе не грозит. Другой стороной этой странной прививки, иницилирующего укуса, является дарованная далеко не всем уверенность в собственных силах, тихое упорство в духе, может быть, даже Робинзона Крузо. Полевая практика только укрепляла это чувство, и девочка радовалась, что научилась ставить палатку, окапывая канавкой на случай ливня, разжигать костёр и готовить на нём приблизительную еду. Нравилось не только разбираться в картах, определять по звёздам стороны света, но и ловить нюансы речи собеседника, разворачивая разговор в нужную сторону или оттесняя от некомфортных тем, для чего самурай Аврора оказался вполне подходящим тренажером. Весь фон существования был растрепанным, задышающимся и живым.

А вот дома всё выглядело по-другому. Родители радовались, конечно, ее возвращению, но были озабочены сугубой прозой. Квартира, куда они въехали полгода назад, так пропиталась флюидами чьей-то жизни, что требовала существенного ремонта — иначе не избавиться от чужих теней. Поэтому семейного отпуска в этом году не получалось — денег не хватало. Об этом смущённо сообщил ей отец, и вообще в доме воздух словно остановился. Интерьер был вроде как подсушен слегка — вместивший всё необходимое и доведённый матерью до стерильной чистоты, он относился к нынешнему девочкиному состоянию, как чертёж к живому существу. Коллективное тело семьи дышало молчаливым унынием, и только младший брат активно досадовал на пропавшее лето.

Странно, если бы она вдруг не придумала, мало того, не убедила всех. Бюджетный отдых — это то, что нужно. Ещё не поздно, ещё август. Пункт проката на соседней улице, взять спальники и палатку — и ехать куда хочется. А куда хочется? На кухне за чаем было решено — на Селигер, а по дороге заехать к отцу на родину.

Отец не был в тех краях лет сорок. Восемилетнего, его увезли в Ленинград из тверской деревни, лет десять жили в городе, потом война, он — на фронт, остальные не пережили блокады. Возвращаться ему было некуда — уехал учиться в Москву. Съёмные квартиры, коммуналки, и наконец, в свои сорок пять, впервые получил отдельную. Иногда рассказывал — про деревню Далёкуши, про родителей и сестру с племяншкой, от которых даже могил не осталось в блокадном Ленинграде, а еще про кормилицу Матрешу Хрусталёву, молочную маму; с Колькой её играл в детстве в бабки. В девочкиной картине мира эта реальность присутствовала в виде непрояснённого пятна — детство родителей интересовало её в той

степени, в которой могло бы раздвинуть границы собственного существования, переселяя то в пионерку с коротким каре, распеваящую «Взвейтесь кострами» под полесскими соснами, то в мальчика, плюющего в воду с Тучкова моста. Путешествие по родовым тропинкам всегда несимметрично — в ней присутствовали гены родителей, но её самой в родителях не было. И всё же родительские воспоминания с их вещественными подробностями позволяли что-то почувствовать — вкус, например, довоенного мороженого, извлекаемого длинной ложкой из оцинкованного вместилища и сжимаемого двумя вафлями, на которых, если повезёт, рельефно выдавлено твое имя. Этот вкус ей довелось ощутить и в реальности, когда мать возила ее в городок своего детства — на пыльной площади стоял тот самый бак, толстая продавщица орудовала круглым половником, и ручка его была надставлена обычной деревяшкой. Ну и что, вкус как вкус — менее сладкий, чем обычно, да иголки-льдинки неожиданно колют язык.

Две достаточно крепкие брезентовые палатки, выдавшие виды спальники. Мать брезгливо поморщилась, но сшила из простыней чистые вкладыши. Минимум концентратов из соседнего магазина, строго по списку — и все, можно ехать. Куда уж проще.

Ранним утром поезд замер на полустанке и выпустил их в молочный туман. До Далёкушей оставалось километров пять. Пока шли, молоко постепенно прозрачнело, вытаивая из себя группы деревьев, жилистую крапиву и серую дорогу. Утро разгоралось, но пейзаж так и не лишился легкой млечности, никакой в нем не было южной лазури, дикого изумруда и лиловеющих далей — лишь бледное и хрупкое, нежное и разбавленное. Острая пила ельника графически, без переходов и полутонов, синела на горизонте, будто вырезанная из плотной бумаги. Льяные поля пахли остро и незнакомо, стебли с круглыми коробочками неназойливо шумели, издавая нечто среднее между шуршанием и звоном. Безмятежная утешительная голубизна, слегка подбитая румяными облачками.

— Жалко, что август, а то, когда лен цветет, будто небо на землю упало, — вдруг сказал отец.

Девочка прислушалась к себе — где-то внутри должны были генетически отзываться эти льяные поля, но, похоже, не отзывались. Брат меж тем пасся в кустах, обсыпанных крепкой малиной, собирал горстями, ладони и щёки были в розовых разводах, таких же размытых, как и все вокруг. Мать автоматически сердилась и повторяла, что есть невымытые ягоды вредно, будто сама не родилась черниговской деревенской девчонкой. Было слишком заметно, что этот пейзаж не казался ей родным и держал слегка в напряжении, хотя в нем не просматривалось ничего угрожающего или тревожного. Возможно, лен пах не так, как жито, малина выглядела слишком крупной, и всему пейзажу не хватало резкости. Зато отец был непривычно весел — детские ощущения пробились из памяти и затопили его молочными ручьями.

Обтёрханный мужичок, встретившийся по дороге, церемонно поздоровался, спросил, кто такие — отец ответил; они дружелюбно поглядели друг на друга — люди одной, как выяснилось, фамилии. Дальний родственничек приподнял мятую кепку и почесал по своим делам, распространяя вокруг отчётливый запах самогона, отец улыбался вслед, а мать смотрела на мужа и думала, что, не имея он неистребимой тяги к учению, слонялся бы по сельским дорогам в таких же серых портках и грубых сапожищах, похожих не на человеческую одежду, а на реквизит к спектаклю из народной жизни.

Монотонный пейзаж почти не менялся, но скоро завиднелась деревня — серые избы, крытые дранкой, глядели уныло. Пустынная улица просматривалась насквозь, лишь у одного дома две неопределённого возраста бабы в телогрейках с любопытством наблюдали за пришельцами. Меж тем отец волновался все сильнее, даже прибавил шагу, слегка оторвавшись от притомившегося семейства. Поравнявшись с тетками, он остановился. Вдруг одна бросилась к нему и вцепилась в рукав.

— Васенька! — крикнула она и заплакала.

— Тетя Матрёша! Узнала! — ахнул отец и обнял её.

Казалось невероятным — как ей удалось разглядеть белоголового малыша во взрослом чужом человеке. Они стояли, обнявшись, на улице, куры бродили вокруг по гусиной лапчатке, и морщинистое лицо Матрёши молодело улыбкой, а по щекам текли слёзы. Она всхлипывала и шептала что-то неразборчивое. Вторая тётка деликатно ретировалась, но выглядывала теперь из своей калитки, боясь пропустить интересное. Девочке казалось, что она случайно застряла в облаке чужой любви, которую нельзя спутать с чем-то другим, и мир оцепенел, словно всё остальное на свете стало неважным. Объятия, однако, выглядели слишком уж теплыми, она даже почувствовала неловкость за отца, который, успокаивая свою Матрёшу, гладил ее по голове, да так, что платок сполз, открыв седые волосы с простым пластмассовым гребешком. Мать с братом застыли в стороне и, похоже, совершенно не представляли, как себя вести.

Остановившееся время дёрнулось, будто поезд тронулся, и ещё не просохшая от слёз Матреша подошла к матери. Но не обняла, а просто протянула грубую шершавую руку. Потом настала очередь детей — уж они-то удостоились поцелуев, и девочка терпеливо вдыхала сложносочиненный деревенский запах, исходящий от тёткиной телогрейки. Будто очутилась внутри короткого рассказа, и не в роли героини, а в роли автора, и, проигрывая текст в голове, уже думала, что Матрёна Ивановна будет звучать глупо, даже пародийно, и тут же стала про себя называть ее Хозяйкой.

Хозяйка меж тем приглашала Васеньку с семейством в дом, даже порывалась нести его рюкзак — и это показалось бы девочке забавным, если бы она не пере-

хватила хмурый взгляд матери, выдающий смутное напряжение: возможно, той непривычно было оказаться в категории «и другие».

Девочка впервые попала в русскую избу и разглядывала всё с любопытством человека, который знает, что когда-нибудь придется записывать свои впечатления словами. Понравилось всё и сразу: мощные потолочные балки, большая печь, скромные вышивки по углам. Дух дыма и дерева, дыхание сухих трав. Рукомойник с пипочкой, под ним поганое ведро, черный обмылок в щербатой мыльнице — честная бедность, спартанская жизнь. Хозяйка же сокрушалась: гостей не ждала, дак и угостить нечем. Стол накрыла чем было — картошка в чугушке да грузди соленые. Достала бутылку с мутным самогоном, разлила в три гранёные стопки — за встречу.

— Мне не надо, — запротестовала мать, — я вообще не пью.

Хозяйка снова заплакала.

— Ты ж у меня один остался, Вася! — сказала она и кивнула на стенку, где в рамках под стеклом висели четыре портрета, один сверху, три ниже, а за рамки были засунуты бумажные цветы и пучки высушенной пижмы. Расплывчатость сильно увеличенных фотографий все же не мешала разглядеть в верхней сурового облика мужчину, а в нижних — трогательно губастых и лопоухих крестьянских пацанов.

— Война проклятая! — с какой-то отчаянной силой сказала Матрёша. — Смотрите, тут муж мой, Степан, а это детки, Витя, Коля и Саша. Сашиней-то карточки не осталось, дак я Колину два раза повесила — похожи ведь были. Ты ж помнишь, Вася?

И правда, удивилась девочка, одна фотография повторялась дважды, а она и не поняла сразу, такими одинаковыми казались ей эти простоватые деревенские лица. Отцовское же — исказилось гримасой, и нервно подёргивался уголок рта.

— Помню, тетя Матрёша, я всех помню.

— Дак что ж мы не выпили, — продолжала Хозяйка, блестя светлыми глазами, — радость-то какая, Васеньку вот увидела, а уж часто думала, жив ли, нет ли. Один ведь у меня остался.

И они выпили, и даже мать пригубила самогонку, потому что отказаться — значило признать себя совершенно чужой и мужу, и этой нелепой тётке. Хозяйка раздумянулась, повеселела, достала из комода мятные пряники к чаю. Мятных девочка раньше не пробовала, только в книжках читала, и теперь с интересом жевала жесткое угощение, густо отдающее зубным порошком и слегка мылом. Брат откусил и положил рядом с тарелкой, а она честно сгрызла до конца, чтобы не выглядеть неблагодарной. Казалось, так она сглаживает нечаянную отцовскую вину — ведь помнил же Матрёшу, помнил, даже детям рассказывал, а за столько лет и письма написать не догадался.



А Хозяйка все порывалась подарить что-нибудь дорогим деточкам — предлагала то одну, то другую вещь из своего бедного хозяйства. Девочка выбрала длинное льняное полотенце с вышивкой и грубо связанным кружевом, а еще веретено — предметы сказочные и, несомненно, волшебные, а брат — веревочные чуни, предвкушая, как предъявит их в школе в качестве сменки. Отец ходил по избе, трогая то старинный утюг, то самовар, и казался слегка пришибленным, пока не догадался отдарить Матрёшу тушённой и сущённой из походного запаса, чему она тихо порадовалась.

Уснуть удалось не сразу — лежанка казалась жесткой, одеяло затхлым. Незнакомые шорохи и шуршание, ночная жизнь. И отсюда — половина твоей крови, значит, ты должна совпасть с этим, упасть в это, полюбить родное, утробное, а если не полюбить, то хотя бы услышать оклик. Но ничто не казалось родным — ни разбавленные молочным дымком дали, ни бревенчатые крестьянские обиталища, ни одинокая старуха с ее корявыми руками и залежалыми пряниками. Даже самурай Аврора был понятнее и ближе.

Утром пошли дальше — на бывший отцовский хутор. Хозяйка смотрела вслед, то ли улыбаясь, то ли слезливая слёзы. Северные еловые леса налиты темнотой даже самым ясным утром, чёрные стволы и тяжело провисшие ветви как нарисованы тушью. Зелёный мох и тусклый лишайник.

— Я по этой дороге в школу ходил, — сказал отец. — Зимой, в темноте. Волков боялся.

— Тебя одного отпускали? — поёжилась девочка.

Она представила, как мужичок с ноготок идет по мрачному лесу. Интересно, в чём он носил книжки и тетрадки? В холщовой торбе? И ходил в миленьких таких лапоточках? Как на картинах передвижников? Да нет, он же сам говорил, лаптей здесь не знали, только чуни. Интересно, как же в них, веревочных, да по снегу?

Дорога вдруг вывела на поляну. Яркий зелёный луг спускался к реке, стали видны сгнившие брёвна на месте отцовского дома. На прибрежной траве лежали странные корки, будто огромные коровьи лепешки.

— Спускают отходы с Кувшиновской бумажной фабрики, — объяснил отец. — Весной, в половодье, здесь всё заливают, потом вода уходит, а осадок остаётся. Картон получается, только корявый.

Он дошел по высокой траве до останков дома и теперь растерянно топтался среди зарослей крапивы. Брат нашёл прутик и ринулся на крапиву кавалерийским наскоком, срубая головы нежданному неприятелю. Крапива тут была жирная, будто напитавшаяся чужими жизнями, хотя лежала вся семья не здесь, а в Питере на Смоленском кладбище, где своей крапивы хватает. Но почему-то на месте брошенных поселений она самая мощная и жилистая — не просто почва нужна ей, а что-то человеческое, невидимое и питательное, разлитое в воздухе.

Вода в речке коричневато поблёскивала, купаться не тянуло. Отец сел на берегу, разулся, ступил босыми ногами в воду — лицо отрешённое, он смотрел внутри себя кино, там двигались люди, лошади, речка манила чистотой и кувшинками.

Мать как будто осунулась за ночь — не её все это было, чужое. Своё деревенское детство она и вспоминать не хотела — тяжёлые густые запахи, ветхий быт, грязь и безнадега. Но вырвалась же и стала городская, чистая. Вдруг прорезалось врождённое чувство стиля — обшивала себя по последней моде, презиравая все простодушное, пёстрое, цыганистое. Собираясь в гости к родне, придирчиво осматривала гардероб, свой и детский, чтобы пройти по улице захолустного городка со строгим, но столичным шиком. Обнималась с любящими тётушками, но дистанцию держала, отчего им становилось неловко и они прятали под фартук руки с обломанными ногтями и вьезшейся огородной грязью.

Дочери тоже перепали красивые платья — мать не просто обшивала ребенка, но каждый раз творила красоту, проявляя бездну вкуса и фантазии. Теперь девочка выросла и предпочитала ковбойки со штанами, чтобы слиться с весёлой толпой студенческого географического народа, тем самым нарушая поступательное движение к эстетическому материнскому идеалу. Но вектор её юной жизни был другим, и рвалась она не в город, а из города, и не для огородной, конечно, работы, а из любви к неведомым горизонтам и ошеломительным ландшафтам — тоже красоте, но не такой безусловной.

Мать устроилась на бревне, подстелив газету для аккуратности, чтобы не испачкать немецкие брючки, и напустив на лицо бесконечное терпение, сквозь которое читались раздражение и беспокойство. Выпускать чувства на волю в момент мужниной ностальгии было бы неправильно, и тоска грызла ее изнутри, хотя непонятно, что стало причиной — мысль о Матрёше, одиноко сидящей в избе и окружённой тенями любимых мужчин, или брызги зелёной крапивной крови на рубашке сына, которую теперь непонятно где отстирывать. Отец тем временем досмотрел свое кино, успокоился и повернулся к семейству, чтобы тронуться в обратный путь, оставив за спиной покатые луга детства, придавленные корявыми картонными блинами.

Селигер, Селигер! Имя-то какое красивое! В Осташкове сели на катер и поплыли на остров Хачин, играть в робинзонов. Катерок ходил раз в сутки, надо было запомнить время, чтобы не промахнуться со сборами в обратный путь. Высадив их на хлипкий причал, он развернулся, махнул пенистым хвостом и умчался. Встали в маленькой бухте, разбили лагерь — девочка возилась с палаткой, отец вырезал рогульки для костра, брата отправили за сухостоем. Скоро забулькала в котелке, мать разливала в миски дымящуюся кашу с тушёнкой, и так это было славно — на песчаном берегу, у зеленой воды, на фоне леса, стоящего мощной стеной.



Похоже, людей на острове вообще не было — за неделю так никто и не попался на глаза. Девочке нравилось тут все больше и больше — налитые светом и цветом дни, ровная синева неба, стоячий изумруд озерной влаги, в которую так приятно было заходить по белому песку. Вдали виднелся другой остров, там возвышался купол храма. Нилова Пустынь — она была прекрасна на розовой заре, её хотелось рисовать, но красок с собой не было, пришлось карандашом. Получалось неплохо, но не хватало цвета, поэтому она оставила это занятие и вернулась к диким природным радостям. Наплававшись, они с братом увлечённо ловили окуней, стоя по колено в воде и радуясь каждой поклёвке. Уха выходила замечательная. В лесу оказалось полно грибов и ягод; мать, раздумываясь у костра, свершала кулинарные подвиги и чувствовала себя командиром и благодетелем, когда голодное семейство подставляло миски и уписывало обед за обе щеки. Её привычный командирский тон не то, чтоб совсем исчез, но заметно сгладился — она почти не делала замечаний, не раздражалась, и девочке казалось, что матери просто удалось расслабиться. Ещё бы, чистый кислород свободы — никаких служебных разборок, школьных сюрпризов, проблем с ремонтом, никакой Матрёши, невинно ворующей чужую любовь. Здесь она крепко держала руль семейного корабля, и он слушался идеально, опасные бури акваторию не сотрясали. Даже погода стояла, как по заказу — без мокрых спальников и сгоревших на костре кед. Им выпал момент неожиданной семейной идиллии, слаженно работающей системы, где каждому нашлось место, а обязанности исполнялись не без удовольствия. Отец радовался, как дитя, каждому грибу и любовно чистил перочинным ножичком крепкие скрипящие ножки. Брат развлекался метанием топорика, не забывая при этом, что его отправили за дровами, так что дрова всегда были в избытке. Даже мытье посуды в холодной воде оказалось приятным — возя пучком жёсткой травы по внутренности закопчённого котелка, можно было любоваться бликами озерной воды на песчаном дне, трескучими стрекозами и Ниловой Пустынью на том берегу.

Это был совсем другой вид счастья. Счастья почти бессловесного. С матерью не стоило разговаривать, как не стоило отвлекать рулевого от руля, для общения с братом хватало экспрессивных междометий и радостного визга, когда серебряно-полосатая рыбка трепетала на леске и отсвечивала красными плавниками, а отец хотя и пускался в воспоминания о детских радостях, поездках в ночное и тёплых губах лошадей, но, похоже, говорил это самому себе, вышётывая слова в рассеивавшее их пространство.

Идиллия подходила к концу, но не хватало финального аккорда. Перед отъездом девочка решила побродить по лесу, чтоб уже никаких грибов, а только чистая эстетика. Забираясь все дальше, она постепенно впадала в другую реальность, совершенно мифологическую: картинка в билибинском стиле, полутьма, тяжёлые лапы обросших лишайником елей, хороводы мухоморов, липкая паутина, запах прели и хвои. Лес не нуждался в людях, живя своей тайной жизнью, для описа-

ния которой не хватало человеческого языка. И странная, абсолютная тишина — ни хруста, ни скрипа, ни птичьего крика. Черничник под ногами круглился матовыми ягодами, как каплями синей крови, от которой трудно было отвести глаза. И вдруг, подняв голову, девочка вздрогнула, увидев прямо перед собой человека. Беззвучное, как в кино, появление старухи в чёрном балахоне и чёрном же низко повязанном платке могло испугать кого угодно, но вполне соответствовало поэтике сновидений. Казалось, ведьма сейчас произнесёт что-то страшное в своей значительности, но она лишь смотрела молча. Похоже, ей было лет сто. Она опиралась на клюку, обхватив ее костлявой лапой, а глаза на тёмном морщинистом лице светились равнодушной блеклой голубизной. Сколько они так стояли — минуту? Пять? Десять? Первый озноб прошёл, но непонятно было, что делать дальше. Самой начать разговор? Однако вряд ли это понравилось бы бесполому, практически бесплотному, почти уже нечеловеческому существу, пребывающему сейчас в каких-то иных измерениях — возможно, в молочных долинах памяти, населённых бывшими возлюбленными и белоголовыми детьми, то ли отнятыми войной, то ли благополучно дожившими до преклонных лет. И не старухой она была — юной невестой, счастливой матерью семейства, безутешной, но крепкой вдовой. Но все смывается, как водой, и теперь она смотрела вслед своей жизни, внутрь себя, и не видела ничего вонне, сливаясь с заколдованным лесом, чтобы истаять окончательно. Какая там ведьма — просто отлетающая женская душа.

Девочка поняла, что она здесь лишняя, пора уходить. Сначала пялась, поскольку боялась повернуться к старухе спиной, потом всё-таки повернувшись, но продолжая чувствовать равнодушный нездешний взгляд. И мчаться дальше по билибинскому лесу, повзрослев на сто лет.

На берегу уже беспокоились, сворачивали палатки, утрамбовывали рюкзаки. Катерок приплыл вовремя, а потом они сели в поезд, который уносил их всё дальше от простого и чистого счастья.

И вот пробежало почти полвека. Бывшая девочка всё чаще вспоминала то лето удивительно отчетливо — с запахом малины, шорохом льна, вкусом мятного пряника. Казалось, с каждым разом картинка становится ярче, можно было уже разглядеть все мелкие подробности, которые давно стёрлись — Матрёшин платок оказался вдруг зелёным, а стопки для самогонки — синими. Отцовский хутор обрёл утерянное имя — Комариха, речка звалась Осугой, в воде просвечивали деревянные столбики, остатки сгнивших мостков. Лишь лесную старуху разглядеть ближе никак не удавалось, хотя её тень промелькнула однажды, слившись с фигурой матери в чёрном платке, заледеневшей над гробом сына — брату, если отсчитывать с того лета, оставалось лишь шесть лет жизни. Отец так и не написал письма Матрёше, а может и написал, но никому не сказал, как никогда не говорил о том, что посылал деньги двоюродным ленинградским сестричкам. Или просто не хотел напоминать матери о своей кормилице, окончательно одинокой

на фоне расплывчатых фотографий, хотя вряд ли мать могла забыть о ней, утешаясь таким же нерезким любительским снимком сына, присланным из армии и теперь уже последним.

Родители ушли один за другим, неумолимо и закономерно, как песок в песочных часах, и девочка вдруг почувствовала себя на краю. И хотя дачный домик хранил выщипанные пёрышки и острые осколки прошлых жизней: скрепленные резинкой отцовские очки в комплекте с вырезанными из журналов кроссвордами, материнскую корзинку со штопальными иглами и аккуратными клубками и даже ветхую записку, оставленную братом, когда он в пылу юношеского максимализма пытался сбежать из дома — все это, тихо шурша, отъезжало, сползло за край, и не милосерднее ли было старый хлам выбросить, положив конец растянутому и болезненному прощанию? Теперь она была старше своей счастливой матери, колдующей над закопчённым котелком ухи на Селигере, старше тёти Матрёши Хрусталёвой, разливавшей самогон в стопки синего стекла, и хотя еще не приблизилась к возрасту чёрной лесной старухи — других вариантов не оставалось.

На встрече однокурсников традиционно рассматривали давно знакомые фотографии с той самой южной практики, вглядывались в лица ушедших (практически половина курса), и когда стали считать, кого утратили за последний год, она услышала имя Авроры, и не почувствовала сожаления, а просто ещё одна фотография стала расплываться, затягиваться молочным туманом.

Теряющее резкость. Распадающееся в пыль. Спокойно принимающее свою дискретность. Кровь, каплющая с ножа в холодную воду. Песчинки, пёрышки, крошки, уносимые рекой — не в никуда, но в океан. Они же все там, правда? И ждут нас.